— Что ты, протопоп, хулишь белила? Без белил не пишутся образа Спасителя, Богородицы, всех святых...

Логгин взвился и стал честить всех подряд:

— Мало ли какими составами пишутся образа... А если такие составы положить на ваши рожи, так вы и сами не захотите, — брякнул он, помимо прочего.

Воевода тут же написал на него донос — так, мол, и так, протопоп Логгин хулил иконы Спасителя, Богородицы и всех святых.

Дело дошло до Никона, и тот повелел отдать Логгина жестокому приставу. В июле 1653 года патриарх созвал у себя в крестовой палате собор для суда над Логгином.

Братия всполошилась. Неронов, приглашенный на собор, вступился за Логгина. Он кричал Никону:

— За что ты отдал его жестокому приставу? Услышит пристав про твой гнев и уморит его. Так-то ты относишься к человеку, облеченному священным чином?

Неронов потребовал доложить дело царю и просить его помочь собору разобраться во всем.

Вот тут-то Никон и проявил свое высокомерие, в конце концов погубившее его...

— Мне и царская помощь негодна и ненадобна, — сказал он, — *я на нее плюю и сморкаю!*

Наступило тягостное молчание.

— Владыко, не дело говоришь, все святые отцы и соборы призывали благочестевых царей на помощь себе... — пробормотал Неронов, а сам уже радостно выглядывал, кого бы привлечь в свидетели Никоновой дерзости. Конец, конец врагу! Митрополит ростовский Иона слышал, слышали и другие...

Но радость Неронова была преждевременной. Хотя царь и назначил по его доносу следствие, на новом соборе, собравшемся через несколько дней, никто слов Никона не подтвердил. Ни митрополит Иона, ни другие не желали ссориться с могущественным временщиком, и Неронова обвинили в клевете и оскорблении святителя.

В ярости он кричал, что Никон сам клеветник, что он любит клеветников и шепотников и жестоко наказывает безвинных...

На этот раз Никон был очень сдержан.

— Я сужу по правилам святых апостолов и святых отцов, — только и ответил он.

Помощники Никона вмешались в спор и стали говорить, что жена Неронова неистова, а сын украл у образа Казанской Божьей Матери серьги, подаренные царицей. У ревнителя благочестия и в самом деле были нелады в семье. Аввакум боялся даже за свою семью, потому что в доме Неронова пьянствовали и буйствовали.

Короче говоря, дело началось с придирки, вылилось в грубую и дерзкую перебранку и кончилось мелочным перемыванием косточек. Ни о каких высоких материях и речи не было на этих соборах, имевших столь трагичные последствия.

Неронов укорял Никона за то, что тот поносит Вонифатьева, что забыл он прежних друзей.

— Доселе ты друг наш был, а теперь на нас восстал. Иных ты удалил и на их место поставил других, а от них доброго ничего не слыхать.

Никон объявил Неронову, что на него подали челобитную попы и причетники его Казанского собора, обвинявшие своего протопопа в бесчинии и грубости. Неронов потребовал, чтобы челобитную прочли. Читать ее не стали, и тогда Неронов стал кричать, что Никон «кощунник, празднословец, мучитель, лжец».

Теперь состав преступления был — клевета, оскорбление «великого святителя». Неронова посадили под арест в Симоновом монастыре, потом привезли на патриарший двор, жестоко избили, сняли в соборной церкви скуфью, что означало запрещение служить, и отправили в ссылку в вологодский Спасокаменный монастырь, на Кубенское озеро.

И это было только начало.

Логгина расстригли в соборе в присутствии царя. Обряд лишения сана состоял в том, что с осужденного снимали священническую одежду, отстригали бороду и клок волос на голове. Когда с Логгина содрали однорядку и кафтан, он, как писал Аввакум, через порог в алтарь в глаза Никону плевал; распоясался, схватя с себя рубашку, в алтарь в глаза Никону бросил... «А в то время и царица в церкви была. На Логгина возложили цепь и, таща из церкви, били метлами и шелепами до Богоявленского монастыря, и кинули в палатку нагова, и стрельцов на карауле поставили накрепко стоять».

Аввакум с Даниилом Костромским пытались еще раз воздействовать на царя и подали челобитную. Но царь твердо придерживался обещания, данного патриарху при поставлении, и снова передал челобитную Никону.

Даниила тоже расстригли, били и сослали в Астрахань, где уморили в земляной тюрьме. В столице царил террор. Одного за другим хватали ревнителей и рассылали их по тюрьмам в другие города. Подьячие патриаршего приказа ходили по церквам, прислушивались к разговорам, брали всех, кто был близок к арестованным. Прихожане из страха перестали ходить в церкви, где служила братия.

Царский духовник Вонифатьев затаился и молчал.

Расправа была жестокой, но по тем временам обычной. Надо думать, что и протопопы расправились бы с Никоном не менее жестоко, если бы не он, а они пришли к власти.

Когда Неронова в цепях и с цепями на шее везли по Москве, народ вышел провожать его, и многие плакали. А ведь совсем недавно суровых «ханжей и сусленников» ненавидели и даже били. Теперь же, когда власти расправились с ними, русские люди жалели их, а от сочувствия был всего один шаг до внимания их «бунтовщицким» речам.

23

И первым стал выступать перед народом Аввакум. Когда взяли Неронова, он пошел на паперть Казанской церкви читать поучения. Можно лишь догадываться, как и что говорил Аввакум; известно, что он «лишние слова говорил, что и не подобает говорити».

Тотчас явился в церковь патриарший протодьякон Григорий и подзадорил казанских попов:

— Разве вы не умеете читать поучения народу, что даете читать Аввакуму? Сами поучайте.

Как коршуны, следили за Аввакумом патриаршие люди, ожидая от него неверного шага. И он сделал его.

Обычно он оставался за главенствующего в церкви во время отлучек Неронова. 13 августа, в воскресенье, казанские попы, подзадоренные патриаршим протодьяконом, отняли у него «первенство».

— Первенство мне подобает по приказу батькову и по чину. Я протопоп, — сказал Аввакум.

— Протопоп ты в Юрьевце, а не нам, — ответил ему поп Иван Данилов.

На неверный шаг Аввакума толкнуло уязвленное самолюбие. Он мог бы еще примириться с казанскими попами, которые без Неронова стали прозябать, лишились корма из дворца, лишились многих богатых прихожан и потому уповали на связи Аввакума.

Он толкнулся в другие церкви, где от него отмахивались как от зачумленного. И тогда, собрав верных «овец», Аввакум стал служить в большом сарае на дворе у Неронова, в «сушиле».

— Бывают времена, когда и конюшня иной церкви лучше, — утешал Аввакум верных ему прихожан.

Это было уже преступление — нарушение всех церковных правил. Опрометью кинулся поп Иван Данилов на патриарший двор и сделал извет. Поп получил за донос подарок, сына его назначили в Казанский собор дьяконом.

Выяснилось, что тот же поп Иван подбил других попов подать челобитную на Неронова патриарху.

В ночь на воскресенье 21 августа 1653 года патриарший стольник Борис Нелединский доказал свою верность Никону, вскоре сделавшему его боярином. С гиканьем ворвались его стрельцы в сушило, где Аввакум читал своим прихожанам перед заутреней «Беседы» Златоуста. Полетели на землю книги. Топча их, стрельцы стали теснить Аввакумово «стадо». Сам Нелединский подошел к Аввакуму, дал ему по шее и, схватив за волосы, потащил вон из сарая.

Человек сорок пригнали стрельцы на патриарший двор. Никон вышел на высокое крыльцо и проклял всех, а Аввакума велел привести к себе в крестовую палату.

Когда протопопа волокли к патриаршему двору, он взывал: «Надежда, не покинь! Упованье, не оставь!», а как привели в крестовую, сердце загорелось. Патриарх и его дьяк Иван Кокошилов пробовали убеждать Аввакума, да куда там! Войдя в раж, он уже не сознавал, где находится. Патриарх не патриарх — теперь ему было все равно. Знай «косит несеяный плевел посреди пшеницы растущей».

Никон слушал его, слушал, а потом и говорит Кокошилову:

— Иван, а Иван, худа гадина протопоп сей. Намучаюсь я с ним.

— А ты, государь, учини ему конец, — посоветовал дьяк.

— Нельзя, брат. Боюсь, защита крепкая у него, — ответил Никон, помня о добром отношении к Аввакуму царя, царицы, Ртищева... А то бы протопоп не дожил до утра.

Никон приказал посадить его на цепь.

На рассвете Аввакума бросили в телегу, привязали руки и повезли в Андроньев монастырь. Три дня сидел он в темном помещении без воды и пищи. «Никто ко мне не приходил, токмо мыши, и тараканы, и сверчки кричат, и блох довольно». На четвертый день пришел к нему архимандрит с братией и стал журить, что патриарху не покорился, а Аввакум «от писания бранил Никона да лаял».

Монахи потащили его за цепь в церковь, драли за волосы и плевали в глаза...

Через десять дней его снова повели на патриарший двор. Дело это оказалось нелегким. Богатырь Аввакум яростно сопротивлялся. Наконец его ухватили за рукава, спускавшиеся по моде того времени до колен, растянули и повели по городу, «как разбойника».

Протодьякон Григорий допрашивал его о последней челобитной. Но допроса не получилось. Бранились они, бранились, пока протодьякон не выругался «матерно» и не велел увести Аввакума в монастырь.

И тогда же заготовили указ Никона — «Великого Государя Никона» — о том, что «протопопа Юрьевца Повольского Входу Иерусалимского за его многое бесчинство сослать з женою и з детьми в Сибирской город на Лену».

Четырнадцатого сентября из заключения Аввакум написал Неронову письмо о своем аресте и бедствиях братии, а на другой день протопопа повезли расстригать к Успенскому собору. Ехала телега, гремела по бревенчатым мостовым московских улиц, а навстречу ей двигалась длинная процессия с крестами. Был Никитин день, и вся знать московская с церковными властями шла в Басманную слободу к церкви Великомученика Никиты. Опутанный цепями, Аввакум ехал «против крестов», не смея поднять глаз — все его знакомцы были здесь, все видели его унижение... Но не знал еще Аввакум, что многие глядят на него во все глаза не с презрением, а с жалостью. И слава праведника и мученика уже ложилась на его широкие плечи.

В соборе служили обедню в присутствии царя, и Аввакума долго держали на пороге. После обедни Алексей Михайлович сошел с трона и упросил Никона не расстригать протопопа. Видно, тронул Аввакум сердце царя, любившего талантливых людей, да и сердобольная царица за него просила...

От собора рукой подать и до Сибирского приказа, где Аввакума отдали дьяку Третьяку Башмаку, будущему его

единомышленнику, расспросили и написали, что жена протопопа Настасья живет на дворе Неронова, что у них есть три сына: девятилетний Ивашка, пятилетний Пронька да восьмидневный Корнилка, который родился, пока Аввакум был в заключении. Еще дочь Агрипейка восьми лет и племянница Маринка.

Настасья Марковна еще не оправилась от родов, но ее, больную, положили на телегу и повезли. А путь лежал долгий — и телегами, и водою, и санями — в Сибирь.

24

Небольшой обоз, выехавший на Ярославскую дорогу, сопровождают пятеро верховых: три стрельца и два казака. Стрельцы московские, и едут они только до Ярославля: дальше, до Вологды, обоз будут сопровождать ярославцы. Так говорилось в проезжей грамоте, что прячет у себя в торбе енисейский казак Иродион Иванов. Ему с тюменским казаком Иваном Степановым поручили доставить протопопа Аввакума с семьей до самого места назначения.

Царской милостью Аввакум не колодник и не на Лену едет, — едет в столицу сибирскую, в Тобольск, к старому знакомому архиепископу Симеону. Отписывал в Москву Симеон, что не хватает у него в Сибири черных и белых попов, и просил присылать «небражников» и «неплутов».

Найдется и Аввакуму хорошее место в дальних сибирских краях. В грамоте, что везет казак, недаром писано: «А священство у него, Аввакума, не отнято». Но казаков и стрельцов все-таки приставили, «для бережения».

Путь вот только долгий — три тысячи верст, недель с тринадцать ехать. А протопопица мается, сердешная. По воде, через Казань, путь, конечно, полегче был бы, да зима на носу — реки станут. Велика земля русская — одних городов сколько в проезжей грамоте означено! Переславль-Залесский, Ярославль, Вологда. Далее по Сухоне-реке через Тотьму и Великий Устюг. И опять по суше — Соль Вы-

чегодская, Кайгород, Соль Камская. Сибирские города — Верхотурье, Туринский острог, Тюмень... Воеводам в тех местах велено казаков с ссыльным не задерживать.

25

Путь до Вологды был древний, как сама Русь. Но такого движения Аввакум не видел никогда. Конца не было обозам, что шли из Москвы и в Москву. Бешено мчались тройки, свистели по-разбойничьи ямщики, норовя огреть кнутом зазевавшегося обозника. Почесывая спины, с завистью смотрели им вслед проезжие. Хороши кафтаны и шапки у ямщиков, богато живут. Рублей тридцать в год жалованья получают да земли сколько! Дороги-то на Руси государевы. Ямской приказ ими ведает — оттого и порядок на дорогах, оттого иностранцы удивляются быстроте езды...

Только в дороге и почувствуешь по-настоящему, как велика и богата Россия. Особенно в последние годы словно всколыхнуло всех. Растут города, расцветают ремесла, суетятся купцы. Уже у всякого города обозначается свой норов, свой лад. Один славится кузнечным делом, другой кожевенниками и дегтярями, третий изографами и резчиками, четвертый... Идет обмен, торговля между городами — складывается один громадный «всероссийский рынок».

А потому и много денег завелось, по всей Руси великая стройка... Вместо деревянных что ни год встают каменные монастыри и церкви, а в городах и купеческие палаты — в них товарам безопаснее. И в самом деле, большая часть сохранившихся до нашего времени замечательных памятников старинной архитектуры построена или начала строиться во второй половине XVII века. Ростовский кремль, переславские, ярославские, тотемские и великоустюжские церкви, Макарьевский монастырь... Вот лишь малая часть из того, что довелось увидеть Аввакуму в строительных лесах.

От Вологды шли на дощеннике. Двадцать гребцов легко гнали судно по течению Сухоны. На дощенниках, которые шли вверх, их было уже не меньше пятидесяти и звались они тяглецами, потому что не всюду одолеешь течение — впрягайся в лямку и бреди по песку, вброд через устья речек, сквозь заросли ольшаника.

Небольшая река Сухона, а ею Москва связана и с Архангельском, и с печорскими землями, и с Сибирью. И идут по ней судно за судном с аглицким сукном, шелком и бархатом, посудой, вином и оружием, с мягкой рухлядью — шкурками соболей, бобров, горностаев, лисиц, песцов, с зерном, кожей, салом, воском, медом, рыбой, льном...

Только в 1653 году, когда ехал в ссылку Аввакум, из Архангельска было вывезено за границу товаров на один миллион шестьдесят четыре тысячи рублей!

В Великом Устюге весь берег у причалов был завален товарами. В пятистах лавках и пятидесяти церквах города толпился народ. По торгу ходили и персияне, и англичане, и иных стран люди, всяк по-своему одет. Сотники занимались «прибором» — верстали в казаки свободных людей, чаявших попытать счастья в Сибири. Знаменитые землепроходцы Дежнев и Хабаров были устюжанами. Сибирские воеводы выписывали из Устюга судовых мастеров, кузнецов, оружейников, и недаром в городе даже сложилась поговорка, что «без устюжан в Сибири никакому делу не бывать».

26

Любопытно Аввакуму, как там, в Сибири. Сопровождающий протопопа енисейский казак Родька Иванов словоохотлив. Бывал он во многих городах, что как грибы вырастали на речных берегах, ходил в походы. Народу идет в Сибирь — сила! Русаков там стало вдвое больше, чем местных. И по прибору идут, и по указу. Казна только пушнину с воевод спрашивает. Крестьянину свободно — селись, обзаводись хозяйством. Поборов почти никаких нет.

Преступников по указу гонят. В Сибири тюрем для них нет; засылают колодников куда Макар телят не гонял, а там сам себе пропитание добывай, а заодно и земли царю. Самый беспокойный народ собирается на подвижной границе Русского государства. Беглые холопы, воры и разбойники. Пленные иностранцы... Кого только не увидишь в Сибири: поляков, литвинов, немцев цесарской земли, немцев ливонских и шведских, латышей, черкас-казаков малороссийских, и даже один француженин был!

Крестьянин трудится, а вот гулящих людей на государеву пашню не посадишь. Те торговлей и ремеслом промышляют, в служивые записываются, а то так, чем от воевод и приказных обиды и притеснения терпеть, соберутся в ватагу, понастроят кочей да дощенников и айда по рекам на восток.

Сам Родька Иванов вологодский, а сибирским казаком по прибору стал. Приехал к ним сотник, прибрал десятских, а те уж рядовых казаков себе из родственников и вольных гулящих людей набрали. Дали они все сотнику Петру Бекетову запись, что ручаются круговой порукой — быть им в городе Енисейске на житье в конных казаках и государеву службу служить, «а не воровать, корчмы и блядни не держать, и зернью не играть, и не красть и не бежать», а кто из них, десяти человек, сбежит, то все государева жалованья лишаются и головой за одного отвечают. Крепкая запись!

Прибранные получили из казны помогу: женатые по два рубля, холостые по полтора. Прогуляв деньги, новоиспеченные казаки двинулись в Сибирь. Стоном стонали города и деревни на их пути, хуже татар грабили они соотечественников, забивали скот, уводили женщин... Царь за такие дела вешать приказывал, да где там — разбойничали и сами воеводы.

Попов мало, совсем мало в Сибири, хоть и тридцать рублей подъемных им дают, и всякие льготы. Мало что народ их не слушает, воеводы своей волей с них скуфьи снимают, батогами бьют.

Рассказал, наверно, Родион и про своего воеводу Афанасия Филипповича Пашкова. Третий год он в Енисейске сидит, стену крепостную с башнями построил. Зверь, а не человек. Людей без государева указу казнит. Подьячих на пытках пытал, а попа соборного раз насмерть бил... У людей деньги вымучивает, крадет, где можно, и в рост деньги дает.

Богатеют воеводы в Сибири, да только у царя своя управа на них есть. Возвращается воевода со службы на Русь, раздувшийся от неправедно нажитого добра, как пьявка, а в Верхотурье, в таможне, уже ждут его. Мягкой казны, соболей, провозить не дозволено, и имущества больше чем на пятьсот рублей вывозить из Сибири не смей. Все, что сверх того, отбирают и на государя записывают.

Аввакум с ревнителями кое-что про сибирские нравы знали, читали о том в грамотах епископов сибирских и тобольских. Про то, как русские люди и иноземцы, принявшие православие, крестов на себе не носят, постных дней не хранят, а едят мясо и всякую скверну вместе с татарами, остяками-хантами и вогулами-манси. Не господами пришли русские в Сибирь, живут промеж инородцев, дружат с ними и одежду их по всякий день, кроме праздников, носят. Живут с некрещеными инородками, и попы местные так же ведут себя, венчают не по христианскому закону.

Аввакум сердится на скудость веры у сибиряков, а того не ведает еще, что вот эта простота русская прочнее пищалей и сабель помогает сесть на землю. Конкистадор или «негоциант» придет в чужой край, опустошит его огнем и мечом; местные жители у него навек рабами будут, а если и не рабами, то презираемыми низшими существами, а уж врагами и в том и в другом случае непременно. Русский человек ловок и общителен, он мастер на все руки, всякому ремеслу обучен, топором чудеса творит — и избу, и церковь многоглавую, и судно речное играючи срубит да так разукрасит, что любо-дорого посмотреть. Но уменья

своего от чужих не таит, не гордится перед ними, сам в гости поедет, у себя примет, породнится... А рабов не было. В смешанных семьях, в смешанных поселеньях побеждала более высокая культура.

И у Родьки Иванова, как и у всех в Енисейске, жена местная; бог детишек скуластых дал; все смышленые, читать и писать могут. Дом большой, как крепость: добра и оружия в доме хватает. Бывало, язычники — жены соплеменники — захотят обидеть, или свои, в поход собираясь, озоруют — ничего, с божьей помощью отстреливался Родька в окошки. Он не в обиде, на то она и вольница сибирская, не устоялась еще жизнь. На что Тобольск город большой, тысяч тридцать одних мужиков будет, а и там всяк с оружием не расстается. Родька с сотником Петром Бекетовым за государевым ясаком ходил, Якутский острог строил, в Даурии по рекам Селенге и Хилку тоже острожки рубили. Нынче Бекетов стрелецким и казачьим головой стал, полковником, а его, Родьку, воевода Пашков в Москву послал с бумагой, в Сибирский приказ. Сдаст он Аввакума в Тобольске, и домой. Да только пожить дома, видно, не придется — строит Пашков сотни две дощенников для большого похода в Даурскую землю под началом тобольского воеводы князя Лобанова-Ростовского...

Слушает Аввакум про Пашкова с Бекетовым, а того не знает, что скоро спознается он с ними и земли диковинные повидает...

27

Много городов и весей проехал Аввакум, много людей и обычаев видел, так что из его первого путешествия целая б книга составилась. «И колико дорогою было нужды, того всего много говорить». К Рождеству в Тобольск поспели. Воевода Аввакума принял и послал его к архиепископу Симеону, чья епархия простиралась от Урала и до самого Тихого океана.

Знакомый еще по Макарьеву, архиепископ принял Аввакума хорошо. Поставленный на свой пост стараниями ревнителей, он еще не был после их разгрома в Москве, не стал еще рьяным никонианцем. «Тогда добр был, а ныне учинился отступник», — скажет впоследствии Аввакум.

Симеон уже год назад добился расширения своих прав. В тобольском Знаменском монастыре вместо игумена поставили архимандрита «с белой шапкой». Вдобавок к Софийскому протопопству учреждено было еще и Вознесенское. Так стало в Тобольске два собора, и Аввакума поставили «Вознесенским протопопом», что являлось повышением. Под его началом были священник, дьякон, чтец, дьячки, пономарь.

Белый каменный Тобольск прекрасен. Он стоит в речной излучине, неподалеку от слияния Тобола с Иртышом, и с реки его башни и церкви на высоком откосе из-за своей стройности и устремленности ввысь кажутся невесомыми. При Аввакуме каменного города еще не было. Девять мощных деревянных башен стояли на горе, а еще выше вздымались тринадцать глав Софийского собора. Там, в крепости, хранились сокровища, которые собирали для царя со всей Сибири: шкуры соболей, рысей, белок... Одних соболей больше чем на двести тысяч рублей в год.

Некогда поблизости тут был город Искер, столица хана Кучума, разбитого Ермаком, послы которого «били челами» Ивану Грозному с «новым Сибирским царством». С той поры, когда письменный голова Данила Чулков поставил острог на высокой горе в излучине Иртыша, прошло едва более шестидесяти лет, а Тобольск уже превратился в столицу всей Сибири, завел свой герб — изображение двух стоящих на задних лапах соболей и вертикально поставленной между ними стрелы, получил право вести дипломатические переговоры с иноземцами.

Деревянный Вознесенский собор стоял на самом краю откоса, над глубоким ущельем Прямского взвоза, по которому проходила дорога в верхний город. Сверху Авва-

кум мог видеть нижний город, посады на Княжем лугу, дома русских, немцев, поляков, юрты татар, громадный базар, куда приходили караваны с товарами из самой Бухары.

28

Еще 19 ноября 1653 года архиепископ Симеон был вызван в Москву на собор. Никон решил добиться одобрения своих нововведений и заставить приложить к ним руку всех иерархов. В январе Симеон покинул Тобольск на целый год, приказав ведать духовными и вотчинными делами «своим дворовым людям» дьяку Ивану Струне и приказному Григорию Черткову, а не облеченному саном протопопа Аввакуму. Видно, посчитал, что Аввакум за месяц еще не освоился на новом месте, да и опасался ссыльного.

Но у Аввакума и в Вознесенском соборе было много дел. Опять он читал поучения и вел со своими прихожанами такие разговоры о крестном знамении, о Никоне и прочем, что на него «в полтора года пять слов государевых сказывали».

Аввакум принялся смирять тобольскую вольницу, не зная меры в своем рвении. Обличая с паперти своих прихожан, он и здесь нажил себе много врагов.

А нравы были поистине вольные. Однажды вечером зашел Аввакум со свечой в домик при церкви... Впрочем, дадим слово самому Аввакуму:

«...В храмине прелюбодей на прелюбодеице лежит. Вскочили. И я говорю: «что се творите? не по правилом грех содеваете!» И оне супротивно мне: «не осужай». И аз паки им: «не осужаю, а не потакаю». Прелюбодей мил ся деет и кланяется мне, еже бы отпустил. А женщина та беду говорит: «напраслину-де на меня наводишь, протопоп, и затеваешь небылицу! — брат-де он мне, и я-де с ним коешто говорю». А сама портки подвязывает, — блудницы те там портки носят. И я говорю: «враг божий! — а то вещи

обличают». И она смеется. Так мне горько стало, — согрешает, да еще не кается! Свел их в приказ воеводы. Те к тому делу милостливы, — смехом делают: мужика, постегав маленько, и отпустил, а ея мне ж под начал и отдал, смеючись. Прислал. Я под пол ея спрятал. Дни с три во тьме сидела на холоду, — заревела: «государь, батюшко, Петрович! Согрешила перед Богом и перед тобою. Виновата, — не буду так впредь делать! Прости меня, грешную!» Кричит ночью в правило, мешает говорить. Я-су перестал правило говорить, велел ея вынять и говорю ей: «хочешь ли вина и пива?» И она дрожит и говорит: «нет, государь, не до вина стало! Дай, пожалуй, кусочик хлебца». И я ей говорю: «разумей, чадо, — похотение то блудное пища и питие рождает в человеке, и ума недостаток, и к богу презорство и бесстрашие: наедшися и напився пьяна, скачешь, яко юница, быков желаешь и, яко кошка, котов ищешь, смерть забывше». Потом дал ей чотки в руки, велел класть перед богом поклоны. Кланялася, кланялася — да и упала. Я пономарю шелепом приказал. Где петь детца? Чорт плотной на шею навязался! И плачю пред Богом, а мучю... Началя много, да и отпустил. Она и паки за тот же промысел, сосуд сатанин!»

В этом весь Аввакум, с его аскетизмом, с его суровостью и одновременно жалостью к жертвам своей суровости — «и плачю... а мучю»...

Но, как моралист, он терпит поражение и сознается в этом. Он всегда точен и правдив...

Другая его попытка воздействовать на грешника суровыми мерами оказалась более удачной.

Обитал в ту пору в «губительном Вавилоне», Тобольске, некий монах — пьяница, ерник и сквернослов. Напившись, он лез с кулаками на своего архимандрита, воевод ни в грош не ставил, срамил на площадях при каждой встрече...

Однажды ночью он решил покуражиться над Аввакумом. Грязный, расхристанный, опухший от пьянства чер-

нец стоял под окнами его дома и, колотя кулаками в ставни, вопил:

— Учитель, эй, учитель! А ну подавай мне царствие небесное!

Наконец дверь отворилась, и на пороге выросла высокая фигура Аввакума.

— Чего тебе?

— Царства небесного хочу, да поскорей!

«Беда моя. Как быть?» — подумал Аввакум, и тут в голову ему пришла шальная мысль...

— А можешь ли ты испить чашу, которую я тебе поднесу?

— Могу! — дерзко ответил монах. — Сейчас давай, немедля!

Аввакум впустил монаха в избу и велел пономарю поставить посреди комнаты скамью, приготовить веревку потолще и топор, которым рубили мясо. А сам с книгой в руках стал читать отходную. Оторопевший монах слушал молча. Но когда ему велели попрощаться со всеми, а потом набросили на него веревку и распластали на лавке, весь хмель с него соскочил.

Монах дергался на лавке, кося глазами в сторону пономаря, взявшегося за ручку топора.

— Государь, виноват, пощади, помилуй! — жалобно скулил чернец.

— Ослабь веревку, — приказал Аввакум пономарю.

Монах рухнул на пол к ногам протопопа.

Жестокий век, жестокие нравы, жестокая шутка. Дикий юмор был тогда в ходу.

Мало того. С монаха содрали мантию и клобук, вложили ему в руки четки и велели отбить полтораста поклонов. И всякий раз пономарь веревкой перетягивал монаха по спине. «Насилу дышать стал: так ево упочивал пономарь-ёт!»

Как только дали монаху отдохнуть, бросился он в незапертую дверь, перемахнул в чем был через забор и бегом...

Пономарь ему вслед: